

ЭЛИЗАБЕТ СТРАУТ

ЛАУРЕАТ ПУЛИТЦЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ

Ах, Вилльям!

НОМИНАЦИЯ НА ПРЕМИЮ BOOKER 2022

Элизабет Страут Ах, Вильям!

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70109923

Ах, Вильям!/: Фантом Пресс; Москва; 2023

ISBN 978-5-86471-938-1

Аннотация

Новый роман лауреата Пулитцеровской премии, номинированный на премию Букер.

Писательница Люси Бартон давно в разводе со своим первым мужем Вильямом, с которым прожила в браке много лет и вырастила двух дочерей. Но когда у Люси умирает второй муж, а Вильяма бросает жена, они ищут поддержки друг у друга и вместе отправляются в Мэн на поиски сестры Вильяма, о существовании которой он до недавних пор не подозревал. События настоящего переплетаются в рассказе Люси с воспоминаниями о прошлом: о детстве в бедном провинциальном городке, о жизни с Вильямом в Нью-Йорке, о поездках на отдых с его матерью. Вильям всегда был для Люси загадкой, и, размышляя о том, кто он такой, она также размышляет о скорби, одиночестве, семейных узах и любви.

Это роман о природе сочувствия, о совместной радости и общей боли. О том, как семейные секреты, всплывающие в конце жизни, могут поменять все, что мы знали о самых близких нам людях. Но прежде всего, Страут пишет о том, что суть

любви не столько в понимании дорогого тебе человека, сколько в принятии его таким, какой он есть, но для осознания этого может понадобиться целая жизнь.

Ирония, легкий юмор, теплота, сострадание, психологизм – все это делает новую книгу Элизабет Страут настоящим литературным явлением.

Элизабет Страут

Ах, Вильям!

*Эта книга посвящается моему мужу, Джиму
Тирни. А еще каждому, кто в ней нуждается, — она
для вас*

ELIZABETH STROUT
Oh William!

Copyright © 2021 Elizabeth Strout

© Светлана Арестова, перевод, 2023

© «Фантом Пресс», издание, 2023

* * *

Я хотела бы кое-что рассказать о своем первом муже, Вильяме.

Недавно в жизни Вильяма произошли печальные события — как и у многих из нас, — но я хотела бы о них упомянуть, такое почти навязчивое желание; сейчас ему семьдесят один год.

Мой второй муж, Дэвид, умер в прошлом году, и, скорбя по Дэвиду, я скорбела и по Вильяму тоже. Скорбь — это...

Ах, это такое *одинокое* чувство; в этом весь ее ужас, как мне кажется. Ты как будто незаметно для всех съезжаешь по фасаду очень высокого стеклянного здания.

Но здесь я хочу рассказать о Вильяме.

* * *

Его зовут Вильям Герхардт, и, выйдя за него замуж, я взяла его фамилию, хотя в годы нашего студенчества это было немодно. Моя соседка по квартире сказала: «Люси, ты берешь его фамилию? Я думала, ты феминистка». А я ответила, что больно нужно мне быть феминисткой; я ответила, что больше не хочу быть собой. В ту пору мне казалось, что я *устала* быть собой, всю жизнь я мечтала стать кем-то другим – так мне казалось, – вот я и взяла его фамилию и на одиннадцать лет стала Люси Герхардт, но в этом всегда было что-то неправильное, и почти сразу, как умерла мать Вильяма, я пошла в транспортное управление и поменяла фамилию на водительских правах, хоть это и непросто; пришлось предоставить документы из суда; но я это сделала.

Я снова стала Люси Бартон.

Когда я ушла от Вильяма, мы уже почти двадцать лет прожили в браке, сейчас у нас две взрослые дочери, и мы давно на дружеской ноге – сама не понимаю как. Есть много кошмарных историй о разводе, но, не считая самого расставания, наша не из таких. Порой мне казалось, что боль от нашего

разрыва и от страданий моих девочек убьет меня, но я не умерла, и вот я здесь, и Вильям тоже.

Я писатель и потому излагаю эту историю почти что в романной форме, но излагаю правдиво — насколько это в моих силах. И я хочу сказать... Ах, как трудно подобрать слова! Если я пишу что-то о Вильяме, значит, я видела это своими глазами или слышала от него самого.

Мой рассказ начинается, когда Вильяму было шестьдесят девять, то есть чуть меньше двух лет назад.

* * *

Иллюстрация.

Ассистентка в лаборатории Вильяма начала звать его Эйнштейном, и Вильям от этого балдел. По-моему, он вовсе не похож на Эйнштейна, но я понимаю, о чем она. У Вильяма белые с серыми вкраплениями усы, очень пышные, но ухоженные, и пышные белые волосы. Они действительно торчат в разные стороны, даже когда подстрижены. Только Вильям высокий и очень хорошо одевается. И в его чертах нет того намека на безумие, который, как мне кажется, был у Эйнштейна. Обычно лицо Вильяма сковано непреклонной любезностью, кроме тех редких случаев, когда он запрокидывает голову, заходясь настоящим смехом; давно он этого не

делал. Глаза у него карие и по-прежнему большие; не у всех к старости глаза остаются большими, а у Вильяма остались.

Итак...

Каждое утро Вильям просыпался в своей просторной квартире на Риверсайд-драйв. Представьте, как он откидывает мягкое стеганое одеяло в синем хлопковом пододеяльнике – рядом, в их громадной кровати, все еще спит жена – и направляется в туалет. Каждое утро он вставал с затекшими мышцами. Но у него была гимнастика, и он ее делал, шел в гостиную, ложился на спину на большом красно-черном ковре под антикварной люстрой и вращал ногами, будто крутит педали в воздухе, а затем вытягивал и сгибал их так и эдак. После этого он садился в большое бордовое кресло у окна, выходящего на реку Гудзон, и читал новости на ноутбуке. Вскоре из спальни появлялась Эстель и сонно махала ему, а затем шла будить их дочку, Бриджет, которой было десять, и, когда Вильям выходил из душа, они втроем завтракали на кухне за круглым столом; Вильяму нравился этот их распорядок, и дочка у него была болтушка, что тоже ему нравилось, это как слушать птичий щебет, сказал он однажды, и мать ее была болтушка.

Выйдя из дома, он пересекал парк, садился в подземку и, доехав до Нижнего Манхэттена, выходил на Четырнадцатой улице, откуда пешком добирался до Нью-Йоркского университета; ему нравились эти ежедневные прогулки, хоть он и

замечал, что ходит уже не так быстро, как молодые люди, проталкивающиеся мимо с пакетами еды, или с колясками с двумя детьми, или с наушниками в ушах, ковриками для йоги за спиной и в лайковых колготках. Вильям радовался, что и сам много кого может обогнать – старика на ходунках, или женщину с тростью, или даже своего ровесника, шагающего медленнее него, – и благодаря этому чувствовал себя здоровым, и живым, и почти неуязвимым в мире постоянно-го движения. Он гордился тем, что проходит больше десяти тысяч шагов в день.

Вильям чувствовал себя (почти) неуязвимым, вот что я пытаюсь сказать.

Иногда во время этих прогулок он думал: господи, я ведь мог бы оказаться на месте *того мужчины* – дремал бы в инвалидном кресле под утренним солнцем Центрального парка, голова склонилась на грудь, рядом, на скамейке, печатает что-то в телефоне сиделка; или на месте *вот этого* – с неровной походкой, скрюченной после инсульта рукой; но потом Вильям думал: нет, я не на их месте.

И он не был на их месте. Он был, как я уже сказала, высоким мужчиной, который с годами не набрал лишнего веса (разве что обзавелся маленьким брюшком, под одеждой почти незаметным), чьи волосы, теперь уже белые, не поредели, и он был... Вильямом. И у него была жена, третья по счету, на двадцать два года моложе его. И это не пустяки.

Но по ночам его мучили страхи.

Вильям рассказал мне об этом как-то утром – чуть меньше двух лет назад, – когда мы встретились на чашку кофе в Верхнем Ист-Сайде. Встретились мы в закусочной на углу Девяносто первой и Лексингтон-авеню; у Вильяма много денег, и он часто их куда-нибудь жертвует, и одно из учреждений, куда он их жертвует, – это больница для подростков неподалеку от моего дома, и раньше, если у него бывали там совещания, он звонил мне и мы встречались на чашку кофе на углу. Тем утром – дело было в марте, за пару месяцев до его семидесятилетия – мы сидели за столиком возле окна, стекла были расписаны трилистниками в честь Дня святого Патрика, и я подумала – я правда подумала, – что у Вильяма какой-то усталый вид. Я всегда считала, что возраст его только красит. Пышные белые волосы придают ему выразительности, он носит их чуть длиннее, чем раньше, и они слегка вздымаются над его головой, но их уравнивают большие поникшие усы; скулы у него стали более очерченными, глаза по-прежнему темные, и вот что немного странно: бывает, он смотрит на тебя – внимательно, любезно, – и на секунду его взгляд становится пронзительным. Что он пронзает этим взглядом? Я так и не поняла.

Тем утром, в закусочной на углу, спрашивая: «Ну как ты, Вильям?» – я ожидала услышать обычное ироническое:

«Просто замечательно, Люси, большое спасибо», но он сказал лишь: «Нормально». На нем было длинное черное пальто, и, прежде чем сесть, он снял его и перекинул через спинку соседнего стула. Его костюм был сшит на заказ, с тех пор как он встретил Эстель, он все костюмы шьет на заказ, поэтому пиджак идеально сидел на плечах; костюм был темно-серый, а рубашка бледно-голубая, а галстук красный; вид у него был торжественный. Он скрестил руки на груди, это у него такая привычка. «Хорошо выглядишь», – сказала я, и он ответил: «Спасибо». (По-моему, за все минувшие годы Вильям ни разу не говорил мне, что я выгляжу хорошо, или мило, или хотя бы неплохо, а я, если честно, всегда надеялась это услышать.) Он заказал нам кофе, его глаза заскользили по комнате, и он легонько потянул себя за усы. Он говорил о наших девочках – боялся, что Бекка, младшая, на него сердится: на днях, когда он позвонил поболтать, в ее тоне была смутная неприязнь, и я посоветовала, пусть не напирает на нее, она сейчас осваивается в браке; так мы беседовали несколько минут, затем Вильям взглянул на меня и произнес:

– Лютик, я хочу кое-что тебе рассказать. – Он подался вперед: – По ночам меня мучают страхи.

Если Вильям использует мое старое прозвище, значит, он включился в беседу по-настоящему, мне всегда очень приятно, когда он так меня называет.

– Тебе снятся кошмары? – спросила я.

Он задумчиво склонил голову набок.

– Нет. Все начинается, когда я просыпаюсь посреди ночи, в темноте. Никогда со мной такого не бывало, – добавил он. – Но это жутко, Люси. Просто жуть берет. – Он поставил чашку на стол.

Я смирila его взглядом:

– Ты пьешь какие-то новые таблетки?

– Нет, – насупившись, ответил он.

Тогда я сказала:

– Ну попробуй принимать снотворное.

А он мне:

– В жизни не принимал снотворного (что меня не удивило).

Зато жена принимает, сказал он; Эстель глотает таблетки пригоршнями, он давно оставил попытки в них разобраться. «Пора пить таблетки», – весело говорит она и через полчаса уже спит. Он не возражает. Но снотворное – это не для него. Как бы то ни было, часа через четыре он просыпается, и тут начинаются страхи.

– Расскажи, – попросила я.

И он рассказал, поглядывая на меня лишь изредка, будто страхи его еще не отпустили.

Страх первый: он безымянный, но связан с матерью Вильяма. Его мать – звали ее Кэтрин – умерла много лет назад, и по ночам он ощущает ее присутствие, но не в хоро-

шем смысле, а в плохом, и это его удивляет, ведь он ее любил. Вильям был единственным ребенком в семье и понимал (тихую) ярость ее любви.

Пытаясь унять этот страх, он лежит в постели рядом со спящей женой – он сам мне сказал, и его слова чуть не убили меня – и думает обо *мне*. Что я нахожусь сейчас где-то, живая, – что я жива, – и это его утешает. Ведь он знает, сказал он, поправляя ложку на блюде, что, если придется, – хотя вообще он бы, конечно, не стал делать этого посреди ночи, – но *уж если* придется, он может позвонить мне, и я отвечу. Мое присутствие – величайшее для него утешение, и только так ему удастся уснуть.

– Ну конечно, ты всегда можешь мне позвонить, – сказала я.

Вильям закатил глаза:

– Я *знаю*. В этом весь *смысл*.

Еще страх: он связан с Германией и отцом Вильяма, который умер, когда Вильяму было четырнадцать. Его отца привезли в Америку из Германии в числе немецких военнопленных – это было во время Второй мировой – и отправили работать на картофельные поля в штате Мэн, где он и познакомился с матерью Вильяма, тогда еще фермерской женой. Наверное, это худший страх Вильяма, потому что его отец воевал на стороне нацистов, и этот факт иногда напоминает о себе по ночам и не дает Вильяму покоя; перед глазами

у него всплывают концлагеря – мы видели их, когда ездили в Германию, – и газовые камеры, и ему приходится вставать, и идти в гостиную, и зажигать свет возле дивана, и смотреть в окно на реку, но сколько бы он ни думал обо мне или о чем-то еще, ничто не помогает. Этот страх посещает Вильяма не так часто, как другие, но, когда посещает, его просто жуть берет.

И последний: он связан со смертью, с чувством ухода. Вильям ощущает, как почти уходит из мира, а поскольку в загробную жизнь он не верит, по временам его пронизывает ужас. Но обычно он не вылезает из постели, хотя порой все-таки вылезает, и идет в гостиную, и садится в большое бордовое кресло у окна, и читает книгу – он любит биографии, – пока не почувствует, что готов уснуть.

– И давно у тебя эти страхи? – спросила я.

Мы ходили в эту закусочную уже не первый год, и по утрам там всегда было полно народу; нам принесли кофе и немного погода – четыре белые бумажные салфетки.

Вильям смотрел в окно на старушку с ходунками; ходунки были с сиденьем, и двигалась она медленно, сторбившись, а полы ее пальто развевались на ветру.

– Пару месяцев, – сказал он.

– То есть они начались без всякой причины?

Вильям взглянул на меня своими темными глазами из-под

разросшихся бровей:

– Думаю, да. – Затем откинулся на спинку стула и добавил: – Наверное, я просто старею.

– Возможно, – сказала я. Но он меня не убедил. Вильям всегда был для меня загадкой – и для наших девочек тоже. – А ты не хочешь к кому-нибудь обратиться насчет своих страхов? – нерешительно спросила я.

– Боже, нет, – сказал он, и эта его черта не была для меня загадкой, я ожидала такого ответа. – Но это ужасно, – добавил он.

– Ах, Пилли, – сказала я, так я ласково называла его в далеком прошлом. – Я очень тебе сочувствую.

– Зря мы тогда поехали в Германию. – Вильям взял со стола салфетку и вытер нос. Затем – почти рефлекторно, как он всегда это делает – пробежал пальцами по усам. – И уж точно зря мы поехали в Дахау. Мне все мерещатся эти... эти крематории. – Он бросил на меня взгляд. – Ты правильно сделала, что не пошла внутрь.

Когда мы были в Германии, я не заходила ни в газовые камеры, ни в крематории, и меня удивило, что Вильям это запомнил. Я уже тогда понимала, что лучше мне на такое не смотреть, вот и не заходила. Годом ранее у Вильяма умерла мать; мы отправили девочек в летний лагерь на две недели, им было девять и десять, а сами полетели в Германию; моим единственным условием было, чтобы мы летели разными рейсами, так сильно я переживала, что мы оба разобьем-

ся и девочки останутся сиротами, хотя позже я поняла, как это глупо, ведь мы могли разбиться и на автобане, пока мимо со свистом проносились машины, — так вот, мы полетели в Германию, чтобы разузнать что-нибудь об отце Вильяма; как я уже говорила, он умер, когда Вильяму было четырнадцать, умер в больнице Массачусетса от перитонита, ему удаляли полип в кишечнике и случайно проткнули стенку толстой кишки, от этого он и умер. Полетели мы еще и потому, что за несколько лет до этого Вильям получил большое состояние, оказалось, его дед нажился на войне, и, когда Вильяму исполнилось тридцать пять, ему достались деньги из трастового фонда, и это не давало ему покоя, и вот мы вместе полетели в Германию повидаться с его дедом, тот был *очень* стар, и двумя тетками, они были вежливы, но холодны, на мой взгляд. У старика, его деда, были маленькие блестящие глазенки, он мне особенно не понравился. Невеселая была поездка.

— Знаешь что? — сказала я. — Думаю, со временем страхи исчезнут. Это просто период такой.

Вильям снова взглянул на меня:

— Хуже всего те, что с Кэтрин. Понятия не имею, с чем они связаны. — Вильям всегда называл мать по имени, даже когда обращался к ней. Не помню, чтобы он хоть раз назвал ее мамой. Внезапно он отложил салфетку и встал. — Мне пора, — сказал он. — Всегда приятно с тобой повидаться, Лютик.

— Вильям! И давно ты пьешь кофе?

– Уже много лет.

Он чмокнул меня, и щека у него была холодная, а усы немного колючие.

Я повернулась к окну, чтобы проводить его взглядом: он быстро шагнул к подземке; держался он не так прямо, как обычно. И это зрелище чуточку разбило мне сердце. Но я уже привыкла к такому вот чувству – оно появлялось почти после каждой нашей встречи.

По будням Вильям работал у себя в лаборатории. Он паразитолог и много лет преподавал микробиологию в Нью-Йоркском университете; за ним оставили лабораторию и одну ассистентку, пары он больше не ведет. О парах: он с удивлением обнаружил, что не скучает по ним, что аудитория со студентами – он недавно мне рассказал – всегда вызывала у него тревогу, он просто не осознавал этого, пока не перестал преподавать.

Почему это меня так растрогало? Наверное, потому, что я не догадывалась и потому что он сам не догадывался.

Итак, каждый день он приходил в лабораторию и работал там с десяти до четырех: писал статьи, и проводил исследования, и руководил своей ассистенткой. Время от времени – несколько раз в году – он ездил на конференции и читал доклады перед другими учеными.



После нашей встречи в закусочной с Вильямом случились две вещи, и скоро я до них дойду.

Сначала я коротко расскажу о его женах.

Я, Люси.

Вильям – тогда еще магистрант – был помощником преподавателя биологии, когда я училась на втором курсе колледжа в пригороде Чикаго, так мы и познакомились. Он был – и есть, конечно, – на семь лет старше меня.

Я росла в беспросветной бедности. Это тоже часть истории, и мне хотелось бы ее пропустить, но я не могу. Я росла в крошечном домике посреди Иллинойса, мы переселились в крошечный домик, когда мне было одиннадцать, а до этого жили в гараже. Когда мы жили в гараже, у нас был маленький биотуалет, но он часто ломался, и отец приходил в ярость, был и уличный туалет в другой части поля; мать однажды рассказала мне историю, как одного человека убили, а его отрубленную голову спрятали в чьей-то выгребной яме. Я боялась просто до смерти, и стоило мне поднять крышку в нашем туалете, как мне сразу мерещились глазные яблоки, и, если поблизости никого не было, я часто ходила прямо в поле, хотя зимой это проблематично. Горшок у нас тоже был.

Наш домик стоял посреди акров и акров кукурузных и соевых полей. У меня есть старший брат и старшая сестра, и оба наших родителя тогда были живы. Но в гараже, а потом и в домике происходили очень плохие вещи. Я уже писала о некоторых вещах, происходивших в домике, и мне не хочется писать об этом снова. Но мы и правда были чудовищно бедны. Поэтому я скажу просто: в семнадцать лет я поступила на полную стипендию в колледж в пригороде Чикаго, в нашей семье потолком было окончить школу. В колледж меня отвезла школьный психолог, звали ее миссис Нэш; она заехала за мной в десять утра в субботу в конце августа.

Накануне вечером я спросила у матери, что мне взять с собой, и она ответила: «Да плевать мне, что ты возьмешь с собой». В итоге я достала из-под раковины два бумажных пакета, принесла коробку из отцовского пикапа и сложила в пакеты и коробку всю свою одежду. Наутро, в девять тридцать, когда мать выехала из дома, я побежала за ней с криками: «Мама! Мамочка!» Но она свернула на дорогу с нарисованной от руки вывеской «Пошив и ремонт одежды». Брата с сестрой дома не было, я не помню, где они были. Незадолго до десяти, когда я собралась выходить, отец спросил: «Люси, у тебя есть все, что нужно?» А когда я посмотрела на него, в глазах у него стояли слезы, и я ответила: «Да, папуль». Хотя я не представляла, что мне понадобится в колледже. Отец обнял меня и сказал: «Пожалуй, останусь в доме», и я поняла его и сказала: «Хорошо, пойду подожду на улице» – и стояла

на грунтовой подъездной дорожке с бумажными пакетами и коробкой с одеждой, пока не приехала миссис Нэш.

С той секунды, как я села в машину миссис Нэш, моя жизнь переменялась. Как она переменялась!

А потом я встретила Вильяма.

Скажу сразу: мне до сих пор бывает очень страшно. Думаю, это из-за того, что происходило со мной в детстве, но я очень легко поддаюсь страху. Почти каждый вечер, когда заходит солнце, мне до сих пор бывает страшно. А иногда меня просто охватывает тревога, будто со мной вот-вот случится что-то ужасное. Хотя, когда я встретила Вильяма, я этого о себе не знала – мне казалось... ну, что просто я такая.

Но когда я уходила от Вильяма, я записалась к психиатру, это была милейшая женщина, и в тот первый прием она задала мне ряд вопросов, и я на них ответила, и тогда, сдвинув очки на макушку, она объяснила мне, как называется то, что со мной происходит. «Люси, у вас тяжелый посттравматический синдром». В каком-то смысле это мне помогло. Ну, как порой помогает называть вещи своими именами.

Я ушла от Вильяма, когда девочки поступили в колледж. Я стала писателем. То есть я всегда была писателем, но я начала издаваться – точнее, до этого я уже издала одну книгу, но я начала издавать и другие, вот что я имею в виду.

Джоанна.

Спустя год после того, как наш брак распался, Вильям женился на женщине, с которой у него шесть лет была связь. Может, и дольше, я не знаю. Эта женщина, звали ее Джоанна, была нашей общей подругой из колледжа. Внешне Джоанна – моя противоположность, то есть высокая и с темными длинными волосами; человек она спокойный. К удивлению Вильяма, в замужестве она стала желчной (об этом он рассказал мне лишь недавно), из-за того что провела свои детородные годы у него в любовницах – никто из них этого слова не употреблял, его употребляю сейчас я, – и когда они стали жить в браке, Джоанну всегда расстраивало, что у нас с ним две девочки, хотя она знала их с малых лет. Вильяму не понравилось ходить с Джоанной к семейному психологу. Он обнаружил, что психолог – женщина умная, а Джоанна – не очень, но пока Вильям не попал в этот кабинет – с серыми подушками на унылом диване, с офисным креслом напротив, с искусственным светом, со шторкой из рисовой бумаги, закрывавшей единственное окно с видом на стройку, – пока он не попал туда, он этого не понимал – что Джоанна умом не блещет и все эти годы его привлекало в ней лишь одно: она не его жена, Люси. Она не я.

Консультации он терпел два месяца. «Ты хочешь только то, чего не можешь получить», – тихо сказала ему Джоанна в один из последних вечеров, проведенных вместе, и он – руки скрещены на груди, так я его себе представляю – ничего не

ответил. Брак продержался семь лет.

Я ненавижу ее. Джоанну. Я ее ненавижу.

Эстель.

Третья жена Вильяма была женщиной обходительной (куда моложе его), и у них родился ребенок, хотя он не раз говорил ей, что не хочет больше детей. Сообщив ему о беременности, Эстель добавила: «Ты же мог сделать вазэктомию», и он этого не забыл. Мог. И не сделал. Он понял, что Эстель все спланировала, и сразу пошел на вазэктомию – не сказав ей ни слова. Когда у них родилась девочка, он кое-что открыл для себя в позднем отцовстве: он любил ее. Он очень ее любил, но один ее вид, особенно когда она была маленькой, и еще больше, когда подросла, почти постоянно напоминал ему о двух дочках от брака со мной, и когда он слышал о мужчинах, имевших две семьи – и пожалуй, он себя к таким относил – и уделявших младшим детям больше времени, из-за чего старшие недолюбливали младших и так далее, он всегда думал: «Нет, это не про меня». Потому что его дочка Бриджет, дочка от Эстель, наполняла его такой ностальгической любовью к двум старшим, которым было уже хорошо за тридцать, что он едва стоял на ногах.

Разговаривая со своей Эстель по телефону, Вильям, бывало, называл ее Люси, и Эстель всегда смеялась и не принимала это близко к сердцу.

В следующий раз мы с Вильямом увиделись на празднике в честь его семидесятилетия, который устроила у них дома Эстель. Близился конец мая, и вечер выдался ясный, но холодный. Моего мужа, Дэвида, тоже пригласили, но он был виолончелистом, он играл в филармонии и не мог пропустить концерт, так что я пришла одна, а наши девочки, Крисси и Бекка, пришли со своими мужьями. Я дважды была в этой квартире, один раз мы отмечали помолвку Бекки, а другой раз – день рождения Крисси, и мне никогда там не нравилось. Ты продвигаешься вглубь, как в пещере, и взгляду открываются одна комната за другой, и повсюду темно, и, на мой вкус, они перегнули палку с декором, хотя, на мой вкус, почти все перегибают палку. Люди, росшие в бедности, часто компенсируют это роскошными интерьерами, но квартира, где жили мы с Дэвидом – где до сих пор живу я, – обставлена просто; Дэвид тоже рос в бедности.

Эстель же родом из Ларчмонта, Нью-Йорк, она росла в богатстве, и, глядя, во что они с Вильямом превратили свою квартиру, я всегда тихо недоумевала, ее даже квартирой называть трудно – сплошь деревянные полы с дорогими коврами и деревянные дверные наличники, просто масса темного дерева, а потом еще люстры там и сям и кухня величиной с нашу спальню, то есть по меркам Нью-Йорка просто огромная,

с массой хромированных деталей, и опять это темное дерево, деревянные шкафчики и все такое. Круглый деревянный стол на кухне и длинный, громадный деревянный стол в столовой. И зеркала повсюду. Я знала, что комнаты богато обставлены, взять хотя бы бордовое кресло у окна, машина с мягкой обивкой, или темно-коричневый диван с бархатными подушками.

Я просто никогда не понимала эту квартиру, вот что я пытаюсь сказать.

По пути к Вильяму я зашла на рынок и купила охапку белых тюльпанов, и, вспоминая об этом теперь, я снова убеждаюсь, что мы выбираем подарки, которые нравятся нам самим. В квартире было много народа, хотя не так много, как я ожидала, но такие вот торжества, мне от них не по себе. Ты с кем-то беседуешь, и тут подходит другой человек, и ты прерываешься, а потом, продолжив рассказ, замечаешь, что его взгляд блуждает по комнате, — сами знаете, как это бывает. Словом, я нервничала, но девочки — наши девочки — были просто душками и вдобавок хорошо обращались с Бриджет, я это заметила, и мне было радостно, потому что, обсуждая ее со мной, они не всегда так великодушны, и, конечно, я принимаю их сторону, мол, она глупая и пустышка и все в таком духе, но она всего лишь девочка, к тому же красивая и знает об этом. А еще она богачка. Но это все не ее вина, напоминаю я себе каждый раз, когда ее вижу. Она мне не

родня. Зато она родня нашим девочкам, так что вот.

Бывшие коллеги Вильяма из Нью-Йоркского университета тоже пришли на юбилей, пожилые мужчины с женами, некоторых я знала еще с давних пор, и все было нормально. Только утомительно. Одна женщина, Пэм Карлсон, – я смутно помнила, что раньше они с Вильямом вместе работали в какой-то лаборатории, – так вот она напилась и много разговаривала со мной в тот вечер, и все о своем первом муже, Бобе Берджессе. Помню ли я его? Я сказала, что нет, к сожалению, не помню. На Пэм было стильное платье в обликпу, какое мне и в голову не пришло бы надеть, – нет, сидело оно хорошо, такое черное платье без рукавов, правда, с довольно глубоким декольте, но руки у нее были худые и выглядели так, будто она занимается в спортзале, хотя она, вероятно, моя ровесница, а мне тогда было шестьдесят три – и пьяная она была по-своему трогательна; она кивнула на своего мужа, стоявшего поодаль, и сказала, что любит его, но часто ловит себя на мыслях о Бобе, а посещают ли меня мысли о Вильяме? И я ответила: «Иногда», а затем попросила меня извинить. Я подозревала, что еще бокальчик – и я сама все выложу про Вильяма и в какие моменты мне его не хватает, но делать этого я не хотела, а потому подошла к Бекке, и она потрепала меня по руке и сказала: «Привет, мамуль». А потом Эстель произнесла тост; на ней было платье с пайетками и изящной драпировкой на плечах; она красивая женщина с такими как бы непокорными рыжевато-каштановыми воло-

сами, которые всегда мне нравились, и вот она произнесла тост, и я подумала: «Как хорошо у нее получилось. Но на то она и актриса».

– Мам, – прошептала Бекка, – мне тоже придется говорить тост...

– Ну что ты, – сказала я. – Никто тебя не заставляет.

Но потом Крисси произнесла тост, и получилось очень хорошо, я не помню его дословно, но вышло не хуже – а то и лучше, – чем у Эстель. Я помню только – в какой-то момент она говорила о работе Вильяма и сколько всего он сделал для своих студентов. Крисси высокая, пошла в отца, и никогда не теряет самообладания, это у нее с детства. Бекка взглянула на меня полными страха карими глазами и пробормотала: «Ох, ладно, мамуль». И сказала, поднимая бокал: «Пап, я пью за то, что тебя люблю. За это я пью. Я тебя люблю». И люди захлопали, и я обняла ее, и к нам подошла Крисси, и девочки очень тепло общались, так у них, по-моему, почти всегда; они всегда были, как мне кажется, почти неестественно близки, они живут в двух кварталах друг от друга в Бруклине, а потом еще я поболтала с их мужьями; муж Крисси работает в финансовой сфере, что для нас с Вильямом немного странно, но лишь потому, что Вильям ученый, а я писатель, и мы не знаем людей из мира финансов, и человек он проницательный, это видно по его глазам, а муж Бекки – поэт, боже милостивый, бедный малый, и, по-моему, он очень на себе заиклен. А потом к нам подошел Вильям, и

все мы непринужденно болтали, пока кто-то его не позвал, и тогда он наклонился ко мне и сказал: «Спасибо, что пришла, Люси. Ты молодец, что пришла».

* * *

Когда мы с Вильямом были женаты, порой я его ненавидела. С гирей глухого страха в груди я замечала, что за любезной отстраненностью, за мягкими чертами он недоступен. Даже хуже. Потому что за ореолом любезности таилась детская досада, гримаса, мелькавшая в душе, пухлый карапуз с оттопыренной нижней губой, который винит то одного, то другого, — он винил и меня, я часто это ощущала, он винил меня за то, что было никак не связано с нашей тогдашней жизнью, он винил меня, даже когда называл «милая», подавая мне кофе, — сам он кофе не пил, но мне готовил каждое утро, ставил передо мной чашку, точно мученик. Да оставь ты себе свой дурацкий кофе, хотелось выкрикнуть порой, я сама себе его приготовлю. Но я брала чашку, касаясь его руки. «Спасибо, милый», — говорила я, и мы начинали новый день.

* * *

После праздника, пока такси везло меня по городским

улицам и через парк, я думала об Эстель. Она такая красивая, с этими своими непокорными рыжеватыми волосами и блестящими глазами, и такая приветливая. У нее, сказал мне как-то Вильям, никогда не бывает депрессии, и, по-моему, он неосознанно пытался меня задеть, ведь я не раз страдала от депрессии за годы нашего брака, но тем вечером я подумала: «Хорошо, что у нее никогда не бывает депрессии». Когда они познакомились, Эстель болталась по театральным подмосткам. Вильям видел ее всего в одной пьесе, они тогда уже были женаты, пьеса называлась «Могила сталевара», поставили ее в небольшом независимом театре, и мы с мужем тоже пошли. Я просто опешила, заметив, что между репликами глаза Эстель невольно блуждают по залу, будто кого-то ища. Она ездила на бесконечные прослушивания, к которым готовилась дома, расхаживая по просторной гостиной и репетируя роль Гертруды, или Гедды Габлер, или кого-нибудь еще, и, когда приходили отказы, ничуть не расстраивалась. Зато она снялась в парочке рекламных роликов, один крутили по местному телеканалу, и там она рассказывала о дезодоранте: «Мне он подходит идеально. – Она подмигивала. – Спорим, – показывая пальцем в камеру, – подойдет и тебе?»

Им часто говорили, что они очаровательная пара. А еще Эстель хорошая мать, пусть и немного рассеянная. Так считает Вильям, и я с ним согласна. Бриджет тоже рассеянная, и они очень похожи внешне, мать и дочь, и это еще больше всех очаровывает. Однажды Вильям увидел, как Эстель

и Бриджет гуляют по Виллиджу, — он сам мне рассказывал — они только что вышли из магазина одежды, и его поразило, до чего одинаковые у них жесты, когда они идут вот так и смеются. Эстель заметила его и суматошно замахала, а Вильям не из тех, кто размахивает руками на улице, и позже она шутливо его пожурела: «Когда жена настолько счастлива видеть мужа, ей хотелось бы думать, что он тоже рад ее видеть».

* * *

Недавно, сидя у себя в квартире и любуясь городом — из окна у нас (у меня) открывается чудесный вид, — так вот, глядя на огни города, и на Ист-Ривер, и на Эмпайр-стейт-билдинг вдалеке, я думала о миссис Нэш, школьном психологе, которая отвезла меня в колледж перед началом учебного года, — боже, как я ее любила! По пути она вдруг свернула к торговому центру и, остановив машину, похлопала меня по руке: «Вылезай-вылезай», а когда мы зашли внутрь, приобняла меня за плечи, заглянула мне в глаза и сказала: «Через десять лет, Люси, можешь со мной расплатиться». И купила мне одежды; целый ворох футболок с длинным рукавом разных цветов, и две юбки, и две блузы, одна была такая симпатичная, в деревенском стиле; и что мне больше всего запомнилось и за что я больше всего любила миссис Нэш — это белье, которое она купила мне, небольшая стопка са-

мого симпатичного белья, какое я только видела, и еще она купила мне джинсы моего размера. И она купила мне чемодан! Бежевый с красной каемкой, и, когда мы вернулись к машине, миссис Нэш сказала: «У меня идея. А давай сложим все внутрь?» И открыла багажник, и поставила туда чемодан, и открыла чемодан, и затем бережно и милосердно срезала каждый ценник малюсенькими ножничками, позже я узнала, что они называются маникюрными, и мы сложили в чемодан все мои вещи. Это ее рук дело, миссис Нэш. Через десять лет ее уже не было в живых, она погибла в аварии, и я так и не расплатилась с ней, но я никогда, никогда ее не забывала. (Всякий раз, когда мы с Кэтрин ходили по магазинам, я вспоминала тот день с миссис Нэш.) Когда мы приехали в колледж, я сказала вроде как в шутку: «Можно я буду делать вид, что вы моя мама?» И она удивилась, а потом сказала: «Ну конечно, можно, Люси!» И хотя я ни разу не назвала ее мамой, в общении она была со всеми очень приветлива, и, мне кажется, все и правда подумали, что это моя мать.

Всегда – всегда! – я буду любить эту женщину.

* * *

Пару недель спустя Вильям позвонил мне из лаборатории – он любил звонить мне с работы – и снова поблагодарил за то, что я пришла к нему на юбилей. «Ты хорошо провела время?» – спросил он. И я сказала, что хорошо; затем я ска-

зала, что беседовала с Пэм Карлсон и та все время говорила о своем первом муже, Бобе каком-то там.

Болтая с Вильямом, я глядела на реку, мимо на буксире шла огромная красная баржа.

– Боб Берджесс, – сказал Вильям. – Хороший был парень. Она бросила его, потому что он не мог иметь детей.

– Он тоже с вами работал?

– Нет. Кажется, он был общественным защитником в суде. А его брата звали Джим Берджесс – помнишь дело Уолли Пакера? Его как раз защищал Джим.

– Да ладно? – сказала я. Уолли Пакер был соул-певцом, которого обвиняли в убийстве подружки, а Джим Берджесс добился для него оправдательного приговора. В то время, а было это много лет назад, процесс получил большую огласку; его показывали по телевизору, и за ним следила вся страна. Я всегда считала, что Уолли Пакер невиновен, я это помню, а Джима Берджесса я считала настоящим героем.

Пару минут мы обсуждали это дело; Вильям сказал то же самое, что говорил прежде – какая я дурочка, что верю в его невиновность. Я не стала спорить. А потом вдруг спросила:

– А тебе-то праздник понравился?

Вильям ответил не сразу:

– Наверное.

– Что значит «наверное»? Эстель так старалась.

– Она заказала обслуживание, Люси.

– Ну и что? Зато она все организовала.

Баржа шла быстро; всегда удивляюсь, как быстро они ходят, сидела она неглубоко, наверняка пустая, черный низ корпуса высывался из воды.

– Знаю-знаю. Нет, вечер удался. Ладно, мне пора.

– Пилл, – сказала я, – хотела спросить. Как твои ночи? Ну, твои ночные страхи?

И по его голосу я поняла, что из-за них-то он и позвонил.

– Ох, Люси, – сказал он. – Прошлой ночью меня снова посетил страх, часа в три, ближе к утру. Про Кэтрин... Это так странно, я даже описать тебе не могу. Она вроде как витает надо мной. – Помолчав, он добавил: – Думаю, придется пить таблетки. Я уже не выдерживаю. – Снова пауза. А потом: – Такое ощущение, будто Кэтрин *совсем рядом*, и это... Люси, это нехорошо.

– Ах, Пилли, – сказала я. – Как я тебе сочувствую.

Мы поговорили еще немного и попрощались.

Но вот что я вспомнила, когда Вильям заговорил о своем юбилее.

В конце вечера я пошла на кухню, чтобы поставить бокал и попрощаться с Этель, та шла чуть впереди, и на кухне, прислонившись к столу, стоял мужчина, ее приятель, раньше я его уже видела, и Этель тихо сказала ему: «Умираешь со скуки?» А потом обернулась и, заметив меня, воскликнула: «Люси, как же здорово было с тобой повидаться!» Мужчина сказал что-то в том же духе – приятный человек, тоже из те-

атральной среды, – и я немного поболтала с Эстель, а потом мы попрощались и я поцеловала ее в щеку. Но мне не понравилось, каким тоном она разговаривала с тем мужчиной, в ее голосе были интимные нотки и – возможно – намек, что ей самой скучно, а это было мне вовсе не по душе. Я ощутила «укольник», вот что я хочу сказать. Но потом этот случай вылетел у меня из головы.

А еще (об этом я тоже вспомнила после звонка Вильяма) перед уходом я заметила, что мои тюльпаны лежат на кухне в оберточной бумаге. Я не особенно расстроилась: квартиру украшал флорист, глупо было думать, что кому-то нужны купленные на рынке тюльпаны.

Саднил в памяти лишь голос Эстель.

* * *

В начале того лета мой муж заболел, а в ноябре он умер. Это все, что я способна сказать прямо сейчас, добавлю только, что брак с ним сильно отличался от брака с Вильямом.

И еще: моего мужа звали Дэвид Абрамсон, и он был... Ах, как же мне объяснить вам, каким он был? Он был *собой*! Казалось, мы просто созданы друг для друга – правда, – хоть это и звучит как ужасная банальность, но... Нет, больше я сказать не могу.

Но знаете что, когда обнаружилось, что Дэвид болен, и потом, когда он умер, первым я позвонила Вильяму. По-моему, – точно не припомню – я сказала «Вильям, помоги мне» или что-то вроде того. И он помог. Он нашел моему мужу другого врача – не сомневаюсь, лучше прежнего, – хотя к тому моменту медицина уже была бессильна.

А потом, когда Дэвид умер, Вильям снова мне помог. Он помог мне с деловыми аспектами – когда человек умирает, столько всего нужно сделать, заблокировать кредитки, закрыть банковские счета, а сколько всяких паролей в компьютере, – и Вильям посоветовал: пусть Крисси займется похоронами, и это была очень умная мысль; Крисси все и организовала.

В те первые ночи со мной была Бекка, она плакала за меня. Она рыдала и рыдала с детским самозабвением и без сил падала на диван, а потом говорила что-нибудь – даже не помню, что именно, – от чего мы обе прыскали со смеху. Она такая, милая Бекка. Она смешила меня, но в конце концов ей нужно было возвращаться домой, и это было правильно.

Во время службы в похоронном бюро Манхэттена – служба как была, так и осталась для меня размытым пятном – Бекка прошептала:

– Папа хотел бы сидеть с нами.

– Он сам тебе сказал? – спросила я, поворачиваясь к ней,

и она торжественно кивнула. Бедный Вильям, подумала я.

Бедный Вильям.

* * *

Накануне Рождества мне позвонила Эстель и спросила, не хочу ли я отпраздновать с ними. Я сказала, что это очень мило с ее стороны, но я буду с девочками, и стоило мне это произнести, как я вспомнила слова Бекки о том, что Вильям хотел бы сидеть с нами на похоронах, и в голове у меня промелькнуло: а вдруг ему и Рождество хочется провести с нами, вдруг это он попросил Эстель нас пригласить? Но Вильям уже который год проводил Рождество с Эстель и ее матерью (и с Бриджет, естественно); Вильям и его теща были почти одного возраста. На Рождество в гостиной Вильяма и Эстель всегда стояла огромная елка, мне Бекка рассказывала, и вся квартира была нарядно украшена – нарядно, как в «Мейсис», с усмешкой добавила Бекка. На что я ответила: «И богато, как в “Саксе”?» – и мы рассмеялись. А после ужина Вильям с Эстель традиционно ходили на вечеринку где-то по соседству, ему всегда это нравилось.

– Понимаю. Тогда просто помни, что мы о тебе думаем, – сказала Эстель.

– Спасибо, – сказала я. – Спасибо вам большое.

– Мы знаем, без Дэвида тебе очень тяжело, – сказала она. –

Боже, Люси... Мне прямо больно за тебя.

– Все нормально, – сказала я. – Не переживай. Но спасибо, – снова сказала я. – Правда. Я очень признательна.

– Ладно. – Эстель помедлила. – Ладно, – повторила она. – Ну пока.

* * *

Итак, наступил новый год. И одно за другим с Вильямом произошли два события. Но сперва я хочу упомянуть кое-что еще.

* * *

В январе Вильям рассказал мне – по телефону, из лаборатории, после того как мы поговорили о девочках, – что на Рождество он подарил Эстель дорогую вазу, которая приглянулась ей в одном магазине. А она подарила ему подписку на сайт, где ты можешь узнать свою родословную. Судя по тону Вильяма, подарок его разочаровал. Подарки всегда имели для него особое значение, которое мне не постичь. «Но это же гениально, – сказала я. – Какая хорошая идея, – сказала я. – Ты почти ничего не знаешь о своей матери, Вильям, это твой шанс». Точно помню, что я это сказала. А он сказал лишь: «Ну да. Наверное». Этот Вильям меня утомлял, этот

обиженный мальчик под маской достоинства и любезности. Но я не обращала внимания, ведь он уже не был моим. Повесив трубку, я подумала: «Слава богу». Про то, что он уже не мой.

* * *

Но вот о чем я рассказала бы этой женщине, Пэм Карлсон, если бы продолжила разговаривать с ней на юбилее. За пару лет до смерти Дэвида мы с ним отправились в Пенсильванию на свадьбу его племянника. Дэвид вырос в общине хасидских евреев в Чикаго, а в девятнадцать лет ее покинул; его подвергли остракизму, и он долгие годы не общался ни с кем из родных, пока с ним не связалась сестра, так что я не очень хорошо ее знала, она казалась мне чужой, она и была чужой. Сперва мы ехали на поезде, затем сели в машину его сестры и полчаса добирались в потемках до гостиницы в какой-то глуши. Накануне выпал снег, и я сидела на заднем сиденье и смотрела в окно на проносившуюся мимо тьму, изредка попадались одинокие дома, мелькали магазины – один с табличкой «Закрываемся *навсегда*» – и постройки, похожие на склады, и на душе у меня было тяжело. Потому что все это напомнило мне о Вильяме и как в молодости, когда я училась в колледже, мы ездили сквозь ночь из Чикаго на восток в гости к его матери, и мы как раз проезжали такие вот места, заснеженные и с виду заброшенные, но мне было

так радостно с ним, мне было с ним уютно; как я уже говорила, у Вильяма не было ни братьев, ни сестер – в каком-то смысле к тому времени у меня тоже, – и тем вечером, сидя в машине с Дэвидом и его сестрой, я вспомнила, как же нам с Вильямом было уютно, ведь мы заключали в себе целый мир, и я вспомнила, как однажды в дороге он сказал, что я могу бросить косточку от персика в окно, и почему-то я бросила ее в *его* окно, он был за рулем, и косточка угодила ему в лицо, и, помню, мы смеялись и смеялись, будто на свете нет ничего смешнее. И потом еще, годы спустя, когда мы ездили в гости к его матери в Ньютон, штат Массачусетс, уже с маленькими девочками в детских креслах на заднем сиденье, ощущение уюта по-прежнему было с нами. Но тем вечером, когда мы с Дэвидом и его сестрой проезжали акры заснеженной земли и они вполголоса обсуждали свое детство, когда мы проезжали рекламные щиты с надписями «Попал в ДТП? Позвони в ТПП», я подумала: «Только с Вильямом мне было безопасно. Он – мой единственный дом».

Вот о чем я рассказала бы Пэм Карлсон, если бы не ушла.

* * *

О своей бывшей свекрови, Кэтрин, я хотела бы сказать следующее.

Когда мы с Вильямом обручились, она взволнованно спросила меня, это было чуть ли не первое, о чем она ме-

ня спросила, мы разговаривали по телефону: «А ты будешь звать меня мамой?» Я ответила: «Попробую». Но у меня не получалось. Я могла называть ее лишь по имени, как Вильям. В девичестве она была Кэтрин Коул, и порой Вильям обращался к ней игриво и немного иронично: «Что новенького, Кэтрин Коул?»

Мы любили ее. Как мы ее *любили* – казалось, на ней зиждется наш брак. Она была полна жизни, лицо ее светилось. После знакомства с ней моя подруга из колледжа сказала: «Никогда не встречала человека, который бы так очаровывал с первого взгляда».

Ее дом меня восхищал; он стоял на обсаженной деревьями улице в Ньютоне, штат Массачусетс. Когда я впервые переступила порог, сквозь кухонные окна лился солнечный свет, сама кухня была просторная, с белым столом, и сияла чистотой. Все поверхности были белые, а над раковиной, на полке поперек окна, стояла крупная африканская фиалка. Кран выгибался длинной дугой и сверкал серебром. Я будто попала в рай. Во всем доме было чисто, деревянные полы в гостиной медово поблескивали, в спальнях висели белые накрахмаленные занавески. В жизни не думала, что смогу так жить. Даже не мечтала. Но так жила *она*! Нет, правда, в голове не укладывалось.

Небольшая оговорка.

Я уже писала об этом в другой книге, но напишу еще раз: когда Вильям рассказал мне, что его мать была замужем за картофельным фермером в Мэне, я решила – ведь я ничего не знала о картофельных полях Мэна, – что она жила в бедности. Но это не так. Ее первый муж, картофельный фермер Клайд Траск, держал хорошую, доходную ферму, вдобавок он занимался политикой, он много лет был членом законодательного собрания штата от республиканцев. А ее второй муж, отец Вильяма, стал инженером, когда приехал в Америку после войны. Так что Кэтрин была вовсе не бедна. Я не ожидала, что ее дом окажется таким элегантным. Думаю, она довольно высоко поднялась по социальной лестнице. Хотя я никогда не понимала всю эту классовую систему, потому что произошла из самых низов, а когда ты из низов, это не забывается. Словом, я так и не оправилась от этого, от бедности, от своих истоков, вот что я имею в виду.

Но в первую пору нашего знакомства, представляя меня своим подругам, Кэтрин касалась ладонью моей руки и тихо говорила: «Это Люси. Люси из бедной семьи». Я писала об этом в одной из прошлых своих книг.

В гостиной Кэтрин стоял длинный диван такого как бы мандаринового цвета, и если мы приезжали без предупреждения, а Вильяму очень нравилось так поступать, иногда мы заставляли ее на этом диване. «Ой! Ой! – восклицала она, пытаясь подняться. – Идите сюда, я вас обниму», и мы под-

ходили к ней, и она вела нас на кухню и доставала еду, без умолку болтая, без устали спрашивая, как у нас дела, уговаривая Вильяма постричься или побриться. «Ты такой красивый мальчик. – Она брала его за подбородок. – Зачем ты прячешь от нас лицо? Избавься ты от этих усов». Она была как солнце. Почти всегда. Но случались у нее и грустные дни, и тогда она говорила полусмеясь: «Что-то мне тоскливо», и Вильям говорил, что у нее это давно, ничего страшного, но даже в грустные дни она оставалась добра, интересовалась подробностями нашей жизни, наших друзей она знала по именам и про них спрашивала тоже. «Как там Джоанна? – спросила она однажды. – Еще не нашла себе мужа? – И, подмигнув, добавила: – Унылая особа».

Она любила сидеть за столом и смотреть, как мы едим. «Расскажите мне всё!» – просила она. И мы рассказывали. Мы рассказывали, как нам живется в Нью-Йорке, мы рассказывали, что у старого соседа снизу молоденькая жена, которая его не любит, и однажды я рассказала, как он встал посреди лестницы и не пропускал меня наверх, пока я его не поцелую. «Люси! – воскликнула Кэтрин. – Какой кошмар! Никогда больше его не целуй!» Я сказала, что мне придется, на что она ответила: «Нет, не придется». Я сказала, это был всего лишь поцелуй в щечку, но мне от него стало не по себе. «Ну конечно, тебе стало не по себе! – Кэтрин покачала головой и погладила меня по руке. – Люси, Люси, – сказала она. – Мое милое дитя».

Затем она повернулась к Вильяму: «А где были вы, молодой человек, пока домогались вашей жены?»

Вильям пожал плечами. Так он вел себя с матерью. Дразнился.

Кэтрин покупала мне одежду – обычно ту, что нравилась ей самой, но порой она и мне позволяла что-нибудь выбрать: рубашку в полоску, чтобы носить с джинсами, белое с синим платье с заниженной талией, я его обожала. Однажды она захотела купить мне белые лоферы. «Ты будешь в них жить», – сказала она. Я попросила ее не покупать мне лоферы, я не стану их носить; это она носит белые лоферы, вот что я подумала, но вслух не сказала, и в конце концов она их не купила.

Правда, через пару месяцев после свадьбы она избавилась от моего любимого пальто. Я купила его в комиссионке за пять долларов, оно было темно-синее, с огромными манжетами и развевалось при ходьбе – в общем, я обожала это пальто, в нем была *вся я*. А Кэтрин выбросила его, перед этим сводив меня в магазин и купив новое. Насколько я помню, она не выбрасывала пальто у меня на глазах, по-моему, она просто сообщила мне об этом, когда я спросила, где оно. «У тебя теперь есть новое, хорошее», – рассмеялась она.

Самое забавное – забавное в смысле «занятное» – в том, что новое пальто было из магазина, где продавались не особенно хорошие вещи. Долгое время я об этом не знала, пока сама не начала разбираться в магазинах. Но то был *по-*

чти магазин для малоимущих. Хотя в мои школьные годы мы и в такой не пошли бы, мы вообще редко ходили по магазинам. Но у моей свекрови были деньги – отчасти потому, что ее муж, Вильгельм Герхардт, отец Вильяма, работавший инженером, застраховал свою жизнь на большую сумму. И, когда он умер, ей досталось много денег. А пару лет спустя она получила риелторскую лицензию и стала продавать дома в хороших кварталах. Так что деньги у нее водились. Вот я к чему.

Она отдавала мне свои старые ночнушки, они были хорошие, белые с вышивкой. Их я носила.

* * *

Вспоминая Кэтрин, я поняла, почему Вильям во время своих ночных страхов утешается мыслями обо мне. Ведь если не считать наших девочек, которым было восемь и девять, когда Кэтрин умерла, из тех, кто был знаком с его матерью, осталась только я. Джоанна тоже не в счет. После развода с Вильямом она уехала на Юг. И больше не выходила замуж. Насколько мне известно.

* * *

Как-то раз – еще до нашей с Вильямом свадьбы – Кэтрин

попросила меня рассказать о своей семье, но стоило мне начать, и на глазах выступили слезы и я проговорила: «Не могу». И тогда она встала с кресла, и села рядом со мной на мандариновый диван, и обвила меня руками, и сказала: «Ох, Люси». Она повторяла это, поглаживая мои руки и спину и прижимая мое лицо к своей шее. «Ох, Люси».

В тот день она сказала: «У меня тоже бывает депрессия». И я была потрясена. Никто из моих знакомых, ни один взрослый мне этого не говорил – и она сказала это так буднично, а потом снова меня обняла. Я никогда этого не забуду. Она несла в себе доброту.

Кэтрин всегда приятно пахла, у нее была любимая парфюмерная линия, свой аромат. Потом я тоже стала пользоваться одной парфюмерной линией – не той же самой, – чтобы тоже иметь свой аромат. Но сколько бы я ни покупала пузырьков с лосьоном для тела, все мне было мало.

Услышав об этом, та милейшая женщина, мой психиатр, пожала плечами: «Вам просто кажется, что вы воняете».

И она была права.

На школьной площадке другие дети почти каждый день кричали нам с братом и сестрой: «Ваша семейка воняет!» – и, зажав носы, убегали.

* * *

Незадолго до семьдесят первого дня рождения Вильяма

Крисси сообщила мне, что беременна. Я была на седьмом небе, даже не думала, что после смерти Дэвида вновь смогу почувствовать себя счастливой; мы с Вильямом обсудили новость по телефону – внучка или внук! – и он был рад, но от восторга не лопался, такой уж он, такой у него характер, я хочу сказать. Но через две недели у Крисси случился выкидыш. Ранним утром она позвонила мне из дома и прокричала в трубку: «Мам!» Она собиралась в больницу. Я немедленно поехала в Бруклин – подземкой, по утрам это самый быстрый способ туда добраться, – сначала я поехала в больницу, а потом мы с Крисси поехали к ней домой, и там мы лежали на диване, и она рыдала – боже, я и не знала, что Крисси способна так рыдать, – и хотя ростом я ниже, она уложила голову у меня на груди и лежала так, пока рыдания не стихли; ее муж был дома, в больницу он тоже ездил, но теперь дал нам побыть одним. Я не стала говорить ей, что в следующий раз все получится, это не то, что ей нужно было услышать. Я просто обнимала ее и убирала прядки у нее со лба.

– Мам, – сказала Крисси, подняв на меня взгляд. – Если бы родилась девочка, я собиралась назвать ее Люси.

Я не поверила своим ушам.

– *Серьезно?* – сказала я.

Она потерла нос и кивнула:

– *Серьезно.*

Минуту-другую я гладила ее по волосам. Затем она ска-

зала:

– Знаешь, мне так стыдно.

– Из-за чего, Крисси? – спросила я.

– Из-за выкидыша. У меня что, организм какой-то неправильный?

– Солнышко, – сказала я. – У миллионов женщин случаются выкидыши. Может, это, наоборот, значит, что у тебя все правильно работает.

– Хм... Об этом я не подумала, – сказала Крисси. Затем прижалась ко мне, как маленькая девочка, и я продолжила гладить ее по волосам. Немного спустя она выпрямилась и сказала: – Представляю, как тебе плохо с тех пор, как Дэвида не стало.

– Спасибо, солнышко. Но не волнуйся, у меня все нормально, – сказала я.

И тут пришла Бекка, и она тоже разрыдалась, у нее это получается само собой, и Крисси сквозь смех сказала: «Ну все, хватит». Я осталась на обед, и, когда мы сели за стол, Крисси уже было заметно легче, ее муж обедал с нами, и Бекка тоже, и после обеда я сказала: «Ну ладно, я пошла, люблю вас», и они ответили: «Пока, мамуль, и мы тебя», как отвечают всякий раз, когда мы прощаемся.

Шагая по улице, я размышляла о том, что мать никогда не говорила мне «Я тебя люблю», и о том, что Крисси собиралась назвать свою дочку Люси. Она *любит* меня, моя девочка! Я и так это знала, а все равно удивилась. Если честно, я

была потрясена.

На обратном пути в вагоне рядом со мной сидела спокойная женщина с ребенком, с маленьким мальчиком. Я наблюдала за ними; она его любила. Интересно, подумала я, случался ли у нее выкидыш и, если да, было ли ей стыдно? Она казалась удивительно самодостаточной, но самодостаточность эта включала и мальчика. В руках у него была тетрадка «Готовимся к детскому саду», и женщина – полагаю, это была его мать – терпеливо произносила по слогам «оранжевый», «черный», «красный», пока мальчик искал в тетрадке цвета.

Из дома я позвонила Вильяму, и он сказал, что, беседуя с Крисси по телефону, похоже, ляпнул что-то не то: «Не волнуйся, говорю я ей, в следующий раз получится, а она мне: господи, пап, это все, что ты можешь сказать? Только это и слышу, а я ребенка потеряла!» И Вильям пожаловался мне: «Но это же еще не ребенок, чего она так вспылила?» А я попыталась объяснить ему, что для Крисси это все равно что ребенок. Я хотела добавить, что, будь это девочка, Крисси назвала бы ее Люси, но почему-то не стала. На этом наш разговор закончился.

Мне вспомнились слезы Крисси. И Бекки.

В детстве, если кто-то из нас начинал плакать, я, или брат,

или сестра, наши родители приходили в ярость. Наши родители, особенно мама, часто приходили в ярость, даже если никто не плакал, но стоило одному из нас заплакать, и они просто теряли голову, так их это злило. Я уже писала об этом, но упоминаю еще раз, потому что одной моей знакомой монахиня сказала, что у нее «дар проливать слезы». У Бекки тоже есть этот дар. И даже у Крисси, когда нужно. Мне часто бывает трудно плакать. То есть плакать я могу, но собственные слезы вселяют в меня страх. Вильям относился к этому спокойно: когда я рыдала, он не пугался, как, возможно, испугался бы Дэвид, но с Дэвидом я и не плакала, как в первом браке, не захлебывалась рыданиями, точно малое дитя. Но с тех пор, как Дэвид умер, я иногда сажусь на пол в спальне, между кроватью и окном, и реву с полной и ужасающей беззаветностью детства. Я всегда переживаю – ведь я живу в многоквартирном доме, – что меня могут услышать. Я делаю это нечасто.

* * *

В семьдесят первый день рождения Вильяма я отправила ему эсэмэску: «С днем рождения, старичок». И через пару секунд у меня зазвонил телефон. Он набрал мне с работы. Я спросила: «Ну как ты, Вильям?» – и он ответил: «Не знаю». Мы поболтали о девочках – Крисси потихоньку оправлялась, – а потом он рассказал мне, что Эстель не купила ему

подарок на день рождения, она ему утром призналась: мол, если он что-то хочет, пусть сообщит ей, просто она закрутилась с Бриджет и со всем, что происходит. Тогда я спросила: «А что происходит с Бриджет?» И Вильям ответил, что у них в школе концерт и что Бриджет ненавидит флейту, а Эстель хочет, чтобы та ходила на занятия еще год, и, выслушав его, я почувствовала, что так и не поняла – как, возможно, и он сам, – что же происходит с Бриджет. Но вслух я сказала: «Ну не купила она подарок. Бывает. Вы женаты уже давно. А что бы ты вообще хотел получить?» А сама думала: «Вильям, давай уже быстрее, ты такой ребенок». Вот что я думала. «Господи, – думала я, – ты просто маленький ребенок».

Мы поговорили еще немного и попрощались.

* * *

Но было и другое.

Как-то раз, много лет назад, после выхода моей первой книги, я тогда еще была с Вильямом, меня пригласили на мероприятие в Вашингтоне, какое именно, уже не помню, помню только, что отправилась туда одна, – наверняка я очень боялась, как боялась любых мероприятий в ту первую пору, – но я это вот к чему: когда пришло время лететь обратно, погода испортилась, гроза все не утихала, и ветер тоже, а людей в аэропорту становилось все больше, и в конце концов я устроилась на полу рядом с молодой парой из Коннектику-

та. Она была красивой и жесткой, он – милым, но молчаливым. Суть в том, что с каждым часом мне становилось все страшнее, и при любом удобном случае я звонила Вильяму из таксофона – у таксофонов была очередь, – и он пытался помочь мне найти ночлег; он звонил разным знакомым из Вашингтона, но они ничего не могли сделать, надо было просто переждать грозу, а мне было очень страшно. А у красивой женщины из Коннектикута имелся очень современный (по тогдашним меркам) мобильный телефон, и она достала его и прямо при мне позвонила на вокзал, и они с мужем решили ехать в Нью-Йорк на поезде, и я спросила, нельзя ли и мне с ними, и они сказали, что можно. В основном я хотела поехать с ними, потому что до смерти боялась ночевать одна в этом огромном, запруженном людьми аэропорту, и вскоре мы заказали такси и поехали на вокзал, и билеты еще не все были распроданы, и я села на поезд, и вот что мне запомнилось: разглядывая Нью-Джерси в лучах рассвета, я была так благодарна, что у меня есть дом, безмерно, безмерно благодарна, что еду домой, в Нью-Йорк, домой, к своему мужу и нашим девочкам. Никогда этого не забуду. Я любила их так сильно... Боже, как отчаянно я их любила.

Так что было и другое, да.

* * *

А потом с Вильямом случились те две вещи.

О первой я услышала в субботу, в конце мая. В тот день исполнился ровно год с тех пор, как Дэвид узнал о своей болезни, и, когда позвонил Вильям, я (дурочка) решила, что он звонит насчет годовщины, надо же, подумала я, как мило, что он запомнил число. «Ах, Пилли, – сказала я, – спасибо, что позвонил», а он мне: «В смысле?» И тогда я сказала, что сегодня первая годовщина Дэвидовой болезни, на что он ответил: «Боже, Люси, прости», а я ему: «Ничего страшного. Что ты хотел?» И он сказал: «Я лучше позвоню в другой день. Это подождет», так и сказал, правда. Но я ответила: «Да ладно тебе, в другой день. Выкладывай».

Оказалось, тем утром Вильям наконец зашел на сайт с родословными – тот самый, куда ему подарила подписку Эстель, – и непринужденно так, будто описывая интересный теннисный матч, он сообщил мне, что узнал.

А узнал он следующее.

До него у Кэтрин уже был ребенок. От брака с Клайдом Траском, картофельным фермером из Мэна.

Это была девочка, на два года старше Вильяма, и звали ее Лоис Траск, а родилась маленькая Лоис в Хоултоне, штат Мэн, недалеко от местечка, где Кэтрин жила со своим первым мужем, с мужем – картофельным фермером Клайдом Траском. Согласно свидетельству о рождении, Кэтрин Ко-

ул Траск была ее матерью, а Клайд Траск был ее отцом. Когда Лоис стукнуло два года, Клайд Траск женился снова, все было документально подтверждено. Свидетельства о смерти Лоис Вильям не нашел, только свидетельство о браке от шестьдесят девятого года, в замужестве она стала Лоис Бубар – «Я проверил, ударение на “бу”», – сказал Вильям с усмешкой, – а также имена и фамилии ее детей и внуков. Ее муж умер пять лет назад.

Вильям спросил, что я об этом думаю, и буднично так добавил:

– Это все чушь, конечно, ни капли правды. На этих сайтах какие только утки не попадают.

Я пересела в другое кресло. Затем попросила Вильяма еще раз мне все объяснить, я ничего не знала о сайтах с родословными. И он принялся объяснять, очень терпеливо, и – честное слово – я вся похолодела.

– Люси? – тихо сказал Вильям.

– Мне кажется, они не соврали, – сказала я.

– Нет, соврали, – настаивал он. – Господи, Люси. Кэтрин ни за что бы не бросила ребенка, и даже если бы бросила – а она этого не делала, – то кому-нибудь бы рассказала.

– Почему ты так уверен?

– Потому что такая у них работа – завлекать людей...

– У кого – у них?

– У этих кретинских сайтов.

Я закатила глаза, хотя он этого, конечно, не видел.

– Пилл, я тебя умоляю. Они не подделывают свидетельства о рождении. У Кэтрин была дочка!

– Я буду копать дальше, – спокойно ответил Вильям. И повесил трубку.

– Дурак ты, – сказала я вслух. – У Кэтрин была дочка! Поразительно. Но, если подумать, это кое-что объясняло.

* * *

В год перед свадьбой мы много времени проводили в квартире Вильяма. Я не жила там, но вообще-то все равно что жила. И мы были безумно счастливы. Я была безумно счастлива, и Вильям, я знаю, тоже. Я пыталась готовить, хотя почти ничего не знала о продуктах, Вильяма это озадачивало – что я так мало о них знаю, – но он был ко мне очень добр. А в гостиной у него стоял телевизор, что для меня было в диковинку, и каждый вечер мы смотрели шоу Джонни Карсона. Прежде я и не слышала о таком шоу, и каждый вечер мы смотрели его вместе, сидя на диване.

В тот год Вильям, помнится, читал мне вслух. Книжка была детская, но для детей постарше, в школе он ее любил – там рассказывалось о мальчике, который выдумал себе жизнь, – и каждый вечер, когда мы лежали в постели, он читал мне по нескольку страниц, и мое влечение просто лежало на мне сверху. Если, потушив свет, Вильям не тянулся ко мне – а он почти всегда тянулся, – то меня охватывали страх и ощущение

ние потери. Так сильно я его хотела.

Наша с Вильямом свадьба проходила в загородном клубе, в котором состояла его мать, и церемония была скромная, горстка друзей из колледжа и подруги его матери, и где-то за час до начала, когда я одевалась в комнатке наверху, – ни мои родители, ни брат с сестрой не приехали, они даже ничего не прислали и не написали с тех пор, как я сообщила им о свадьбе, – у меня появилось странное чувство, описать его очень трудно, будто все слегка не по-настоящему, и потом, когда я спустилась и встала рядом с Вильямом и мировым судьей и пришло время давать клятвы, я чуть не лишилась дара речи. И Вильям посмотрел на меня с невероятной любовью и добротой, как бы желая мне помочь. Но чувство никуда не ушло.

Когда мы повернулись к залу лицом, я увидела, что его мать восторженно хлопает в ладоши, и, возможно, – не знаю точно – в этот миг меня охватила тоска по *моей* матери, и, возможно, я тосковала по ней уже давно. Но чувство, которое я описала, по-прежнему не уходило, и на банкете я будто наблюдала за всем со стороны. Все казалось таким далеким, словно происходило с кем-то другим. Той ночью в гостинице я отдалась мужу не так охотно, как обычно, чувство все еще было со мной.

Правда в том, что с тех пор оно не покидало меня никогда. Не покидало насовсем. Оно длилось весь наш брак – на-

ползая и стихая, – это был просто кошмар. И я не могла описать его ни Вильяму, ни себе самой, но это был тихий ужас, который я носила в себе, и по ночам, в постели, я была с Вильямом уже не совсем такая, как прежде, и я старалась, чтобы он не замечал, но он, конечно же, замечал, и, вспоминая свое отчаяние в те ночи, до замужества, когда он ко мне не тянулся, я представляю, как он себя чувствовал в браке со мной, – он чувствовал себя униженным и растерянным. И ничего нельзя было сделать. И ничего не было сделано. Потому что говорить об этом я не могла, и Вильям стал уже не таким счастливым и начал закрываться во всяких мелочах, я это видела. И на фоне этого мы жили свою жизнь.

Когда родилась Крисси, мне было очень страшно, я понятия не имела, как ухаживать за младенцем, и тогда приехала Кэтрин и осталась с нами на две недели. «Идите, идите, – сказала она в один из первых дней. – Поужинайте где-нибудь». У меня отложилось в памяти, что, принимая на себя заботу о Крисси – и о нас тоже, – она вела себя слегка агрессивно. Мы пошли в ресторан, но страх не отпускал меня, а после ужина Вильям, с самого рождения Крисси все больше помалкивавший, сказал: «Знаешь, Люси. Будь она мальчиком, я бы чувствовал себя спокойнее».

Внутри у меня что-то оборвалось, но я ничего не ответила.

Я никогда не забывала об этом. В тот миг я подумала: «Ну

хотя бы он честен».

Но у нас были такие сюрпризы и разочарования, вот я к чему.

* * *

Кэтрин не шла у меня из головы. Не знаю почему, но я нутром чуяла, что у нее и правда была дочка. Я вспомнила, с каким видом она держала маленькую Крисси на руках; как я уже говорила, на первых порах Кэтрин взяла заботу о ней на себя. А потом я вспомнила, как в другие свои приезды, баюкая Крисси, Кэтрин смотрела на нее чуть ли не со страхом. Легко рассуждать об этом сейчас, но, думаю, память меня не обманывает. А с Беккой она была то заботлива, то до странности безучастна. Только представьте, что она чувствовала, когда держала наших девочек на руках!

Я вспомнила, как мало она рассказывала о своем прошлом, просто *невероятно* мало; у нее был старший брат, которого она всегда называла непутевым, пренебрежительно качая головой, он погиб в аварии на железнодорожном переезде много лет назад. А рассказывая о своем муже – картофельном фермере, Кэтрин всегда принижала его, мол, человек он был «неприятный» и они друг друга не любили. Она вышла за него в восемнадцать; в колледж она поступила, лишь когда переехала в Массачусетс с отцом Вильяма, немецким военнопленным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.